

ОЛЬГА ВОЛОДИНСКАЯ

Имя прошепчет ветер



Ольга Володинская

Имя прошепчет ветер

«Издательские решения»

Володинская О.

Имя прошепчет ветер / О. Володинская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-907993-0

Семей без истории не бывает. И у каждой семьи она своя, порой совершенно невероятная. На самом деле все эти истории, всех их героев объединяет одно — каждый хочет быть счастливым. Но что есть настоящее счастье? Семья, дети? Главная героиня нашла его совсем в другом. Потеряв все в своей жизни, совершенно отчаявшись, пройдя через многие испытания, она обрела гораздо больше, чем имела. Ее жизнь обрела новый смысл, наполненность, любовь, и, несмотря ни на что, она стала по-настоящему счастливой.

ISBN 978-5-44-907993-0

© Володинская О.
© Издательские решения

Содержание

Благодарности	6
Пролог	7
Часть 1. Все проходит...	9
Часть 2. В обители	24
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Имя прошепчет ветер

Ольга Володинская

© Ольга Володинская, 2018

ISBN 978-5-4490-7993-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Благодарности

Это был удивительный год. Я имею в виду все эти почти четыреста дней работы над книгой. Не знаю, много это или мало. Но это было счастливое, хоть и беспокойное время. Оно не всегда было одинаковым. Иногда происходили события, которые нарушали все мои планы и после которых я какое-то время вообще не могла подходить к письменному столу.

Иногда я теряла веру в себя, от этого все казалось бессмысленным, портилось настроение, опускались руки, подкрадывалась и надолго задерживалась рядом грусть. И тогда меня по-настоящему вдохновляли мои подруги Инна и Наталья, искренне поддерживали Ольга и Татьяна. Я бесконечно благодарна им за это! За то, что они все видели, чувствовали и понимали. Ведь это так важно, когда кто-то в тебя верит, зажигает огонек в твоей душе и делает все, чтобы он не затухал.

Я очень благодарна своему сыну, самому строгому и взыскательному моему критику и своему мужу за его доброту и снисходительность. Мне очень нужны были и эта скрупулезность, и это однозначное принятие в течение всех прошедших долгих месяцев.

Я благодарна всем моим друзьям и близким за их терпение и внимание ко мне, за их неподдельный интерес к моему творчеству. За то, что вы радовались вместе со мной, мои дорогие, и не давали мне слишком огорчаться, за то, что всегда вы готовы были откликнуться и оказать мне любое содействие. Эта книга появилась благодаря всем вам.

Пролог

– Ну, вот... села я, значит, на кровати-то, душа прям в пятки ушла, а проснуться до конца-то никак не могу. Вдруг вижу, во сне иль наяву, уж и не знаю, появился самый главный, который у них. Выглядит – ну, чисто черт. Лохматый, с рогами, с хвостом, на ногах вместо пальцев копыта. Глаза, как угольки, так и сверлят. Злые такие! Аж мурашки по коже пошли. А все одно, смотрю на него, как заколдованная. Ткнул ентот черт в меня своим пальцем крючковатым, да и говорит, мол, жизнь проживешь долгую, хоть и не легкую. Хочешь, говорит, все скажу, что с тобой будет? Я со страху прям, язык как проглотила. Головой только замотала. Сказывал он, сказывал, значит, а потом сурово так ко мне опосля и обращается: «Ну, живи, – говорит, – да помни, что я тебе поведал». А я и не помню вовсе, что он мне говорил-то. Ну, ничегошеньки не помню! Враз все из головы вылетело! Только звон один там. Хотела было переспросить, да все исчезло. Насилу опомнилась! Хотя и загорилась тогда, что запомнятовала все.

– Ну, что же ты, бабушка, так и не разузнала, что будет, да как... Может, и жизнь бы по-другому пошла.

– Испужалась я сильно. Больно страшон был черт ентот. А как проснулась, так долго того сна забыть не могла... Да и на кой мне знать-то, что да как. А прожила ничаво. Хорошо прожила. Дай Бог каждому! А что чижало было, так это и всем чижало бывает. Жизнь такая... Что ж теперича поделаешь-то... Вон мне сколько годков-то ныне сравнялось... Много... Уж на девятый десяток перевалило.

– Бабушка, а что это за история с монахиней была? Еще тебя вроде бы в ее честь назвали...

– А ты почем знаешь?

– Так ты ж сама говорила. Обещала рассказать как-нибудь эту историю.

– Да уж, история была... Мне-то бабушка моя рассказывала, а ей – дочка ентот самой монахини-то, которая той тоже бабушкой приходилась. Или не родная дочка, что ли. Запуталась я в их. Эх, чего только в ентот жизни ни бывает...

– Подожди-подожди, так это когда получается было? Лет сто пятьдесят назад, что ли?

– Эх, хватила – сто пятьдесят. Я-то в 1908 родилась... Мне лет двенадцать было уж, когда бабушка рассказывала, а бабушка старенькая была, годков восемьдесят точно ей сравнялось... как бы ни поболее.

– Ну, вот и получается – ей бабушка рассказывала, когда та девочкой была, и той – также приблизительно. Получается, даже больше. Так ведь?

– Так получается, наверное. Не знаю я. Ты уж сама считай. Шибко раз грамотная.

– Давай, ты мне теперь расскажи, а я потом, Бог даст, своей внучке поведаю.

– Ну, что ж, ну, что ж... слушай тогда... Эх, жалко я твоей внучки-то уж не увижу.

– Не переживай, бабушка, даст Бог, будет у меня внучка, я ей про тебя расскажу и фотографию твою покажу. И историю твою расскажу... Вот она о тебе и узнает. Самой бы только дожидаться внуков-то.

– Ишь ты... правда твоя. Да уж история, скажу тебе, была такая, что ни в одной книжке такую не прочитаешь.

Ох, и давно это было... Тогда ведь знаешь, время-то другое было. Все вместе были. Все друг дружку держались. Вместе-то всегда оно легче. Уж праздник, так праздник, ну, а уж коли горе, то тоже вместе не так отчаяние за душу-то берет. Вместе можно все пережить. Это сейчас все по взрозь живут. Нихто никем не нуждается. Нихто никому не подмогнет. Да, все поврозь... И каждый сам по себе. А разве ж это дело? Нет, не дело это, ох, не дело. Никто и не знает, кто

он да откуда. И не знается никто с родней-то. А порой и враждуют. Даже близкие самые и те враждуют... Вместе вроде живут, а как кошки с собаками – так и лаются, и лаются все. А чего делят-то и сами не знают. Матри – на детей, те – в обратную, сестры, братья, все как вражины друг другу стали. Вот оно какое, наказание-то Господне... Ох и страшно это. И ведь почитай в каждой семье эдак-то. Все недовольные. Все изозлились. Всем все мало! И ведь это самые близкие друг дружке люди. Что уж про чужих-то говорить! Неправильно это.

– Ты права, бабушка. Все так... Ты вот говоришь, вместе, мол, не живут. Но ведь это естественно, что птицы улетают из своего гнезда, когда подрастают.

– Так то птицы. Но и они возвращаются, все одно стаями живут. Не по одному. Я так думаю – и люди должны друг дружку держаться. Уж родные-то! Вместе-то оно завсегда легче жизнь переживать.

– Однако ж, бабушка, расскажи историю твою. Интересно же!

– Ну, да ладно, расскажу тебе историю-то. Ох, история была... Ну, слушай...

Часть 1. Все проходит...

В просторной келье было почти совсем темно – так, что только угадывались очертания предметов. Лишь в углу под иконами едва тлела лампадка, да на тумбочке возле широкой лавки, приспособленной для сна, догорал огарочек свечи. На лавке неподвижно лежала старая монахиня, рука ее выпросталась из-под одеяла, и в свесившейся ладони были крепко зажаты деревянные четки, до блеска натертые многолетним и частым перебиранием. Рядом сидела в надвинутом до самых бровей куколе схимница, которая, закрыв глаза, беззвучно шевелила губами.

– Что у вас тут случилось? – раздался густой бас вошедшего старца-духовника.

– Ш-ш-ш, – остановили его.

Схимница молча кивнула в сторону ложа.

– Похоже, кончается, – только и произнесла она еле слышно.

Монахиня медленно открыла глаза и, увидев старца, что было силы вцепилась в его руку, пытаясь привстать.

– Лежи, лежи, матушка, что ты, – заволновался духовник. – Я и так с тобой поговорю. Ты что это тут болеть надумала, – расстроено укорял он ее полусшепотом.

– Пусть выйдет, – прохрипела умирающая, кивнув на схимницу.

– Ступай, дочь моя, мы тут сами управимся, – попросил ту старец.

– Пошли гонца в село, в Рождественку, батюшка, Христом Богом прошу, – задыхаясь, прошелестела через силу монахиня.

– Али в уме ты? Кого это я в поселок пошлю, да и зачем? Ночь-полночь на дворе. К утру ведь только и доберутся туда.

– Пахома, конюха пошли или лучше Якима, хоть и старый, он знает, куда ехать надобно. Там Арсений Никифоров живет, на отшибе, на улице у самого леса, так и называется она, улица-то – Лесная. Пусть он приедет и детей всех привезет, кого сможет собрать. А, может, и внуков. Повидать их хочу перед смертью своей, – сбивчиво проговорила больная, роняя нечаянные слезы.

– Объясни ты толком. Не пойму я ничего. Кто таков этот Арсений?

– Грех на мне великий. Прости ты меня, Господи, – перекрестилась нетвердой рукой умирающая, – и ты, батюшка Филимон, прости. Не могла я сказать раньше-то. Никак не могла, – закашлялась вдруг монахиня.

– Не волнуйся ты так. Говори, не торопись. В чем грех твой, матушка?

– Не успеть я боюсь, батюшка. Муж ведь это мой. И дети. Четверо их у меня было: Илюша старшенький, первенец мой, Дашутка, Никитушка и Аришенька, младшенькая. Живы-здоровы все были до сей поры. Увидеть их хочу напоследок. Не откажи в просьбе-то моей, молю тебя Христом Богом!

– Как муж?! Как дети?! – ахнул старец. – Бредишь ты, что ли?! И столько лет молчала?! Если б не знал тебя давным-давно, епитимью возложил бы, не посмотрел бы на заслуги твои, да что болезная, – одновременно недоумевал и гневался он.

– Не болезная я. Помираю ведь. Потому и сказала. А за грех свой скоро уж и ответ держать буду. Да не здесь. Перед Богом. Он – милосердный, простит... – выдохнула больная, бессильно откинувшись на подушки.

– Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие. Что ж ты, матушка Арсения, с такой тяжестью-то жила. Покаялась бы, все легче было бы на душе. Давай хоть теперь расскажи, как же так все произошло, что случилось-то с тобой и когда?

– Расскажу, отец Филимон, расскажу, все, как было и как есть. Только пошли в Рождественку. А то пока возвратятся... А я куда рассказ свой затею. Вот и исповедаюсь тебе до конца уж. Успеть бы! Дал бы Господь!

– Будь по-твоему, матушка Арсения. Кого, говоришь, сыскать-то надо? Арсения Никифорова? Хм-м, и имя-то подходящее ты себе выбрала, чтоб не забывать, значит?

– Совпало так. Имя-то это при постриге в мантию не ты ли мне дал?

– А ведь и вправду я. Столько лет прошло! Ну надо же! Ладно, лежи пока, сейчас вернусь я, – вставая, попросил монахиню старец.

Давно это было. Как и не в этой жизни вовсе, – начала свой рассказ старая монахиня, – и не со мной. Зима была тогда снежная, ясная, но не больно суровая. Морозов трескучих даже на Крещение не было. На Масленичной неделе затеяли катание на санях, потом всей гурьбой играли в снежки – целую битву устроили. Вот тогда я его и увидела, молодца этого. Красивый собой, румянец во всю щеку, волосы из-под шапки выбиваются, светлые волнистые. Глаза такие лучистые, по цвету, как желудь молодой, и смотрят весело, по-доброму. И все лицо его так и смеется. Да и он, видно, меня заприметил. На мне длинная пышная юбка была, коричневая кацавейка, отороченная мехом, с вышивкой по краю подола. На голове теплый платок, да коса ниже пояса... Все норovil он в меня снежком попасть, только тихонечко так, осторожно. Потом в игры всякие играли, хороводы водили. А там и матушка моя с батюшкой чай всем привезли да блины с медом. Они у меня пекарню, лавку хлебную держали, мельница была, пасака своя. Хорошо жили, всего вдоволь было, но и работали много, рук не покладаючи.

Так любила я дом наш: высокий, завалинка широкая такая, что сидеть можно, как на скамеечке. И всегда там хлебом пахло, пирогами, калачами всякими. И тепло.... Уж как тепло было всегда....

Я младшая в семье была. Полей меня звали, Пелагеей. Сестры старшие дорожки да ковры ткали, меня научили. Я и прясть умела. Бывало, сядем с сестрицами в светлице нашей, руки работают, а мы песню затынем. Пели-то все хорошо, красиво, стройно. Нравились нам посиделки эти. И работалось легко, хорошо, радостно...

Матушка с самой старшей сестрой и младшим братом хлеб пекли, бублики, калачи да в лавке продавали. А другие братья с папенькой да с зятьями кто на мельнице, кто на пасеке, кто в поле. Все трудились. Меня жалели, потому как маленькой считали, но тоже потихонечку к работе приучали. Ну, и с детками малыми, с племянниками своими я время проводила. То сказку им расскажу, то песенку спою, то поиграем, то погулять пойдем на полянку лесную, полно лукошко ягод или грибов, бывало, принесем. Варенья наварим, а грибы насушим, а какие матушка и посолит, бывало. Вкуснотища! Очень я рыжики соленые любила, да грузди черные – хрустящие они такие, душистые. И пироги с ними – объеденье одно!

А как жили-то дружно! Иной раз соберемся все после жатвы, да как с медом разделаемся, ох, и веселье у нас поднимается! Песни поем. Инда и батюшка в пляс пустится. Очень уж он любил перепляс. Или с матушкой голубец плясать затеются. Красиво так у них получалось! Матушка, будто пава, выступает, а батюшка вокруг нее, чисто голубь вьется. Глядят друг на дружку, улыбаются.

Дом-то большой, да сестрам и братьям, как тесновато стало, избы отстроили, но жили все одно одним двором. Все вместе.

Мне в ту пору семнадцать годков уж было. Матушка беспокоиться начала – замуж пора, а я все в девках, да с племянниками вошкаюсь. А я и не переживала совсем и так мне не хотелось абы за кого замуж-то идти! Все о любви мечтала, все об ней. В книжках об этом читала. Батюшку все время просила из города да с ярмарки книжек привезти. Он у меня шибко гра-

мотный был, понимал... А матушке хоть и невдомек было, но не бранила она меня за книжки-то эти. Головой только покачает и ничего не скажет.

Так вот, как я того паренька-то приглядела, так и подумала, что если бы посватался, пошла бы за него, пожалуй. Люблю я, когда нрав веселый, легкий, а взгляд добрый. Так мысль об нем занозой и сидела в сердце моем.

Как-то раз у колодца его встретила, раскланялись. Я сначала что-то разволновалась, а потом, улыбалась и ничего с собой поделать не могла. Так с улыбкой домой и пришла.

– Ты чего радостная такая? – спросила матушка. – Как глупая ходишь, улыбка с лица не сходит. Не влюбилась ли часом?

Я даже закрыла лицо руками и убежала. А ведь и вправду, наверное, влюбилась, – думалось мне.

Потом уж весной, как из леса с племянниками шли, он на лошади догнал, поздоровался, спросил даже чего-то, детей покатал. И мне предложил, да я отказалась – боязно было. Тут он интересоваться стал, как детей зовут, потом – как меня.

– Полюшка она, Поля, – закричали наперебой дети.

– Ну, а я Арсений, – сняв картуз и протягивая руку, представился юноша, а потом сел на коня и, попрощавшись, ускакал прочь.

В груди моей что-то толкнулось и вдруг защемило. «А имя-то какое красивое», – только и смогла подумать я.

А на Пасху с раннего утра разговелись, в Храм сходили все вместе, а потом, уж как в обедах мы с сестрами к столу собирали, вдруг отец подозвал меня к себе и велел одеться получше, поправивше, да волосы прибрать понаряднее.

– Помоги ей, мать, да объясни, что к чему, – приказал он.

Я не поняла, в чем дело, а матушка, вытирая слезы, махнула мне рукой, зовя за собой. Сердце мое тревожно забилося, никак я в толк не могла взять, зачем это мне одеваться красиво и почему матушка вдруг заплакала.

Надели на меня сарафан мой любимый, рубашку белую расшитую, платок самый лучший на плечи набросили, волосы в косу заплели с красной лентой. Я еще сережки из шкатулочки достала – те, что папенька подарил, когда маленькая была. Матушка позволила, потом обняла меня, поцеловала, перекрестила и говорит:

– Ну, пойдем, дочка, сватать ведь тебя пришли. Никифоров Роман Силантьевич за сына своего хочет взять тебя. Не знаешь ли его? Сапоги они тачают. Мастерская у них своя. Слыхала, небось?

Я обмерла прямо. Ведь это ж Арсения батюшка. Виду не подала, вышла в горницу, а они уж за столом сидят.

Сели мы с Арсением рядышком, да так и просидели молча. Родители все обговаривали, а мы сидели и со всеми вместе, и не здесь как будто. Слова их песком сыпались, да только не слышали мы их, шелест лишь один.

Ну, а на Красную горку и свадьбу сыграли. Весело было, да только не помню я ничего, мы все друг на дружку смотрели, а уж, как «горько» -то кричали, больно стыдно было на людях целоваться. Едва касались губ губами, а сердце все норовило из груди выскочить.

Переехали мы в дом к Арсениной родне, а потом, как уж наш Илюшенька родился, первенький, в новую избу свою вошли, рядышком с родительским домом до конца уж отстроенную. Пусто в ней было поначалу, неудобно. Домотканые дорожки из родительского дома принесла, какие сестры подарили, да занавески расшитые и скатерть матушка преподнесла на новоселье, вот и по-домашнему получилось. Ну, а потом уж совсем обустроились.

Муж мой работал много, уставал сильно, но со мной был ласковым и с детьми добрым. И родня мужнина меня любила. Только схоронили мы рано родителей Арсения, померли они друг за дружкой в один год. Будто не захотели по одиночке жить. А братья его старшие захаживали, проводывали, узнавали, не надо ли помочь чем. Хорошо мы жили, грех жаловаться. Разговаривали хоть и мало, но все одно вместе каждый день, все рядышком. Бывало, посмотрит он на меня, Арсеньюшка мой, глазами своими глубокими, прижмет к себе, и сердце мое замирало от счастья. Ох и любили мы друг дружку, уж как любили! Бывало, выйду на улицу вечером соловья послушать, так он обязательно шаль вынесет на плечи набросит: «Не замерзла, Полюшка?» – скажет. И всегда так. Ягодку первую сорвет и деткам говорит: «Давайте мамке дадим, она вон, сколько трудится для нас».

Так вот и вижу – калитка скрипнет, идет-бредет муж мой ненаглядный. Я скорее воды чугунок из печки выну, он умывается, фыркает, да на меня брызгает. Смеется. Я ему водички родниковой или кваску сваренного и остуженного дам, попьет он, вытрется рушником, моими руками вышитым, и – за стол. Как уж детки были, все на коленки норовили к нему залезть. Он ничего, не прогонял их, улыбался. Он ест, а я рядом сижу, смотрю на него, подперев лицо руками. Все наглядеться не могла.

В воскресенье детей собирали, в церковь шли, а потом и к его родне или к моим в гости. Там радовались, племянники деток наших забирали играть, а мы чай с бубликами пили, разговаривали кто об чем. И так хорошо на душе было, так покойно, так радостно... Казалось, счастье наше никогда не кончится. Так вот и жили – в любви, в уважении да в согласии.

Много времени так прошло. Лет двенадцать либо. Уж и Дашенька была, и Никитушка, Аришенька подрастала. Полгодочка-то уж сравнялось ей. Сидеть только-только начала. Смешно, бывало, – ложку деревянную расписную ей дам, она разглядывает ее, да серьезно так смотрит, а потом давай махать во все стороны. И смеется, первыми двумя зубками своими сверкая. «Ба-ба-ба-ба», – кричит. Первые слоги, значит, получились у нее такие.

Илюшенька помощником совсем стал. Оглянуться не успели! Все с отцом, бывало, в мастерской. Уж очень нравилось ему сапоги делать. Он и себе с отцовой помощью ловкие сапожки смастерил. «Смотри, – говорит, – мама, они и воду не пропускают». И – раз их в ведро полное. Я ахнула, а отец смеется. Потом по голове светлой его потрепал – гордился, будет, кому дело семейное продолжить. Он сам, Илюшка-то, и гвоздики специальные из деревяшечек делал. Все обещал и мне сапожки да ботиночки смастерить.

А Никитушка мечтательным рос, весь в меня. Все ему интересно было, как мир устроен. Часами мог букашек всяких рассматривать. Все удивлялся, как это Бог так придумал – у кого две ножки, а у кого лапок этих не счесть. Очень любил он в церковь ходить. Один раз говорит мне: «Мама, я тоже буду, когда вырасту, службы служить, людям жизнь облегчать, слушать их и помогать, как отец Митрофан наш». Маленький был, всего-то четыре с лишним годочка, а вот поди ж ты...

Дашенька часто к сестрам моим хаживала посмотреть, как те ткут да прядут. И меня часто просила показать ей, как вышиваю. Первую картинку свою вышила, неумелую еще, котенка с клубочком играющего. Отец ей рамочку смастерил. «Можно, – говорит, – мама, я бабушке с дедушкой подарю?». Потом показала я ей, как занавески можно расшить. Она все петушков красных да голубых хотела там вышить. Аккуратненько так, старалась очень. «Научусь, – говорит, – получше, и к Пасхе тогда картинку с куполами вышию, а потом и рубашки смогу».

Хорошие детки росли, ласковые, работающие и интерес свой имели. Видно, потому что добро одно они от нас видели да любовь. И то видели, как мы с Арсением друг дружку любим да жалеем, заботимся, бережем.

И решила я как-то на Покровскую ярмарку в город губернский съездить, хоть и далече. Живность кое-какую продать, дорожки, что наткала, платки да шали, что навязала, да гостинцев детям купить. Арсений прихворнул немного, с детьми остался. Напоследок спросил, может, мол, передумаю я ехать, а я уж решила, приготовила все. Поцеловала своих, да и поехала. А осень стояла холодная, снег уж во всю лежал, ветры часто завывали с метелями. А тут и денек выдался хороший, солнечный, погожий. Поеду, думаю... ничего.

Хорошо все распродала, лакомств всяких накупила, гостинцев и деткам, и Арсению – новую шапку, рубаху красивую с красной вышивкой и кисточками у ворота, батюшке с матушкой, сестрам, братьям, племянникам – всем в общем, да только припозднилась немного. Возница мой, Ипат, ворчал всю дорогу, волки мол, в лесу водятся. Ну, и доворчался, видно...

Как-то быстро вдруг стемнело, вокруг елки сплошь стеной стоят, даже Луны не видно, холодать стало сильно. Сначала шорох какой-то послышался, потом с разных сторон огоньки засверкали. Я еще подумала, что это за огоньки такие. А это глаза волчьи были. И вой такой жуткий раздался!

– Держись, барыня! – крикнул Ипат и стал хлестать лошадь, что есть мочи. Вдруг впереди показалась этакая большая собака.

– Ой, да это же волк, – испугалась я. Вцепилась в телегу, что есть силы, от страха и холода аж зубами застучала.

А лошадь встала на дыбы и вдруг, отчаянно заржав, понеслась во весь опор. Телега накренилась, и Ипат с криком вывалился из нее. Пытался было ухватиться да не удержался, родимый. Я увидела, как к нему с визгом и рычанием бросились волки. Сердце у меня зашло от страха и ужаса. А лошадь все неслась и неслась, как заполошенная, я только глаза закрыла и думаю: «На все воля Божья!». Как вдруг раздался треск, сильный удар, все закружилось как-то. И больше я ничего не помню. Ухо еще улавливало какие-то звуки, крики, визг, возню, но я даже пошевелиться не могла и ничего не чувствовала. А потом и вовсе все исчезло.

Сколько прошло времени, не знаю, не ведаю. Открыла глаза, пошевелиться не могу, боль во всем теле страшная. Попыталась голову повернуть, даже застонала, как будто искры там появились и каждая, как иголка острая. Увидела только, что в избушке какой-то лежу. Сильно натоплено, жарко. И опять я провалилась, как в яму.

Вдруг почувствовала, как губ коснулось что-то прохладное. «Вода. Пить», – пронеслось в голове.

А глаза опять открыть не могу. Вновь в какой-то горячечный липкий бред погрузилась. Потом чувствовала, как чьи-то руки меня осторожно переворачивают. Я застонала от боли и прошептала пересохшими губами:

– Кто это? Где я?

Наверное, это мне только показалось, что прошептала, потому что ответа я не услышала. А, может, опять незаметно провалилась в беспамятство. Так проходили дни, недели, месяцы.

Когда я начала приходить в себя, перед глазами поначалу все плыло, крутилось и никак не могло остановиться. И вдруг мой мятущийся взгляд выхватил из этой круговерти лицо. Это было человеческое лицо, лицо мужчины, потому как с бородой оно было. Сил не было ни испугаться, ни удивиться, ни возмутиться – ни на что. Я только вновь спросила, еле шевеля спекшимися губами:

– Кто вы? Где я?

– Пожалуйста, не пугайтесь. Если бы вы знали, как рад я, что в себя вы пришли. Я уж почти и не надеялся. Я лесничий. Зовут меня Яким. Не бойтесь.

– Сколько я здесь? У вас...

– С осени, с Покрова, стало быть, полгода почти.

– Что?! – я сделала попытку приподняться, но голова моя закружилась, все тело от самой макушки, пронзила резкая боль, в глазах свет белый померк, и я опять потеряла сознание.

И вновь потянулось время: то бред, то явь. А однажды утром я как будто проснулась после долгого сна. Попробовала пошевелиться – не больно вроде бы, только сил совсем нет и будто затекло все. Попыталась сесть – не смогла. И тут дверь открылась, и вошел мужчина. Я вскрикнула. Мужчина бросил охапку дров и кинулся ко мне. Я натянула на себя одеяло и попыталась закричать.

– Не бойтесь меня, не тревожьтесь. Все хорошо. Сейчас печь растоплю, и попробуем с вами присесть да бульончик попить. Июнь-то нынче холодный, как и не лето вроде, а вы еще слабы, тепла вам надобно. Слава Богу! Живая вы! – добавил он, перекрестившись.

Он умело растопил печь, подошел, улыбаясь к кровати, протянул мне рубаху.

– Сможете сами?

Я попыталась натянуть ее на себя, но ничего не получалось. По щекам тут же потекли слезы.

– Не плачьте. Вы же вон, сколько лежали, не ели почти ничего. Кое-как я вас кормил бульонами, да отварами. Яйцами сырыми еще. Молоком козьим. Настойками травяными. Насилу выходил. Это чудо-чудное и настоящее, что вы выжили и очнулись. Давайте я вам помогу. Не бойтесь меня. Я уж более полугодом за вами ухаживаю, раны ваши исцелить пытаюсь. Все уж видел и то, чего не надобно бы.

Вздыхая, он протер меня какой-то пахнувшей хвоей жидкостью, размял немного плечи, спину. Промокнул мое исхудавшее тело чистой тряпочкой и надел чистую рубаху.

– Сейчас вон душегреечку еще наденем и сесть попробуем. Давайте потихонечку. Сейчас волосы ваши расчешу. Ох, и намучался я с ними. Но так мне жалко было резать их. Думаю, это уж в самом крайнем случае. Но сберег все ж таки. Хотя и непросто это было.

– Так вот зачем вы меня ворочали? – догадалась я.

– Да, и за этим тоже, – грустно усмехнулся Яким.

Посадил он меня, придержал, а у меня голова вдруг закружилась, поехало все куда-то в сторону. Опять я заплакала.

– Ничего-ничего, это от слабости. Позднее еще раз попробуем. А чуть погодя, с Божьей помощью встанем, да и ходить будем учиться. Как звать-то тебя, болезная? Авось вспомнила, сестра? Ничего, что я так с тобой буду, по-свойски? Родная ведь ты мне теперь, выстраданная.

– Пелагеей меня кличут. С Рождественки я. Домой ведь мне надо. Дети у меня там. Муж.

– Вот беспокойная душа. Ожить, как следует, не успела, опомниться, а туда же. Домой! Поправишься чуток, будем искать твой дом. Не волнуйся. Не устала? Ну, отдыхай пока. Пойду воду поставлю, кашку тебе, сестрица, сварю. А пока на-ка, молочка парного попей козьего. Погоди только, дай чуть водичкой разбавлю. Сделай несколько глоточков. Сразу-то много не надо.

И опять проходил день за днем. Только больно медленно для меня они шли, эти дни. Я понемногу вставать стала. Сначала трудно было. Каждый шаг с усилиями давался. И голова кружилась, и отпустить боялась от спасителя своего. Но понемногу сначала сама встала, а потом и пошла: шажок, другой. Будто маленькая. Все с детками себя своими сравнивала.

Яким рассказал мне, как отбил меня от волков со своей собакой Волчком. Собака та помесь с волком была, молодой сильный свирепый пес, потому и смогли они отбить меня. Рассказал, как метель жестокая потом началась, как привез он меня полумертвую в хижину эту, как ухаживал, из лап смерти вытаскивал, как испугался, когда кровью я исходить начала через некоторое время. Только потом понял, что это ребеночка я скинула. А я и сама не знала, что тяжелая. Арсений нипочем меня бы не отпустил, если бы знал. Я все ниже и ниже голову опускала, глаз поднять боялась – ведь он раздевал меня, мыл, кровь с меня вытирал. Стыд-то какой! Срамота прямо!

– Не тушуйся, сестра, – понял мое стеснение Яким, – мне главное тебя спасти было. Я и не замечал ничего. Не думай. Ты для меня тогда душа живая просто была. И все равно кто – баба аль мужик. Только потом я уж понял и увидел, что красивая ты и хрупкая, как веточка. Не ровен час, сломаешь. Как дитя мое ты мне теперь, заново народившееся и мной спасенное. Прости уж меня.

Жена-то моя вот также при родах умерла, да и ребеночка спасти я не смог. Она кровью изошла, а дитя после долгих да тяжелых родов задохлось, не выжило, в пуповине запутавшись. Не головкой он шел-то, не как надобно. Я никак поверить не мог, все оживлять их пытался и похоронить никак не мог решиться. Все думал – а ну, как живые они. Дыхание все слушал. Казалось, грудь поднимается, или что ресницы дрогнули. А уж потом подумал вдруг, что это рассудок мой помутился с горя. Увидел, как лики их меняться стали. Тогда и похоронил... Думал и сам за ними отправлюсь. Выл на могиле, как зверь раненый. Каждый день приходил к ним и выл. Самые пасмурные минуты души моей тогда наступили. С тех пор и один на всем белом свете.

– А кто был-то?

– Мальчик. Сын. Андрейка...

– А жену как звали?

– Марусей, Марией, значит...

Еще рассказал он, что как я в себя приходила, пытался мой спаситель выяснить, кто я да откуда, но я не помнила ничего, себя-то не помнила и только бредила все и иногда имена разные повторяла. Это уж потом, как окончательно я в себя пришла, вспомнила все постепенно: и как зовут меня, и откуда я, и что дети у меня, и муж Арсений...

Ипата, возницу моего волки начисто растерзали, даже хоронить нечего было. Долго я оплакивала его, молилась за душу его грешную – смерть-то какую лютую страшную принял человек!

И вот как-то раз такая тоска меня взяла. Такая тоска, что и словами не сказать.

– Домой бы мне, Яким, на ногах уж стою и крепко. Сама себя обихаживаю. Пора. Только найди мне зеркало, или что-то такое, чтоб отраженье свое увидеть, посмотреть на себя хочу, что со мной стало теперь.

Нахмурился лесничий, но пообещал разузнать все и зеркало тоже пообещал найти. На следующий день оставил мне еды, питья и уехал счастье мое искать.

Наконец, услышала я – лошадь скачет. Сердце мое забилося, ну, думаю, сейчас все узнаю, про любезных моих.

Спешился Яким, смотрю, лицо озабоченное, на меня глядеть избегает. И я боюсь спросить...

Потом уж, как отужинали, попыталась выведать, что он узнал. Яким все отнекивался, а потом и говорит, не надо, мол, тебе возвращаться.

– Оставайся у меня. Кем хочешь здесь живи. Хочешь хозяйкой, мужем тебе хорошим буду. Хочешь, сестрой, братом буду надежным, любящим. Не ездь туда, не надо туда тебе.

Я от волнения руки в груди прижала, никак с дыханием справиться не могу.

– Что случилось там у них, все ли живы-здоровы они?

– Живы-то они, живы. Да и здоровы. Всех их видел. Только не надо тебе туда, – заладил опять Яким.

Отговаривал он меня, отговаривал, да так и не смог убедить не ездить-то. Чувствовала я себя совсем неплохо. Иногда только голова немного кружилась и слабость еще была. Нахлынет внезапно, аж ноги подогнутся. Того и гляди упаду. Да шрамы мои от ран иной раз болели. Я все лицо свое щупала, боялась смотреть-то на себя. В зеркале, которое Яким добыл, видно было не очень хорошо, больно маленькое оно оказалось и мутное какое-то. Но ничего, собралась в путь, перекрестилась и поехали. Яким вздыхал всю дорогу.

– Расскажи мне, не сильно ли меня волки-то изуродовали, а то как такой своим покажусь.

– Зажило все, слава Богу. На лбу только, да на щеке небольшие шрамы остались, да и то не больно заметные, а в уголке глаза след от когтя волчьего, ты видела небось, спасибо, сам глаз цел остался.

– Так это от него глаз мой будто кривоват немного сделался? В зеркале-то твоём не больно видно, какой я теперь стала. Ну да ладно. Теперь, как есть.

Подвез он меня к дому нашему прямо, да и говорит, посиди, мол, здесь, сейчас я. Такая тревога в моей душе поднялась, унять никак не могу. Долго его не было. Как вдруг калитка распахнулась, и выбегает Арсений. Я только и смогла, что привстать. Подбежал он ко мне. «Пелагея!» – кричит, а сам белый весь. Я руки к нему протягиваю, а он только лицо закрыл и головой мотает.

– Да что случилось-то тут у вас?! —воскликнула я.

– Так ведь похоронили мы тебя, скоро полгода уж как....

– Как похоронили?! Почему?

– Не возвернулись вы с ярмарки, только лошадь с покореженной телегой пришла. Поехали мы на поиски. Весь лес исходили, в разных концах его были. Кричали, звали, весь голос себе сорвали. Только шапку Ипатову нашли да ключья зипуна, и шубы твоей куски. Поняли мы, что за беда тут случилась. Не хотел я верить в это. Не мог! Каждый день ездил туда, все искал, искал, звал, думал, вдруг лежишь где-нибудь, схоронилась. Никак не мог я перестать ездить и искать. Так и казалось мне, что вдруг пропустил где. Только все напрасно. И снег, как нарочно, все валил и валил. И метель мела, как будто заколдованная. Мыкались мы, мыкались, а дети-то ведь малые, Аришеньке только полгодочка и было...

Мне так жалко его стало, так жалко. Смотрю на него – волосы с сединой, на глазах слезы, взгляд какой-то потухший, затравленный почему-то.

– Отыскалась я, помяли меня шибко волки-то, повредили мне все, лицо вон изуродовали звери. Вот спаситель мой, выходил он меня. Без памяти я была, ходить да сидеть заново училась. Да и себя не помнила – кто я да откуда. Только что же мы здесь-то?! Пойдем домой, Арсеньюшка. Так я по деткам нашим истосковалась! Увидеть их хочу скорее.

Только зарыдал мой Арсеньюшка в голос, руками рот лишь прикрыл и не отвернулся даже.

– Господи, да как же это?! Счастье ведь это, что ты объявилась живая, что нашелся добрый человек, который тебя нашел и выходил. Но только и беда это одновременно. И что делать-то теперь, не знаю я.

– Не понимаю я, объясни мне, пожалуйста, что такое, почему я домой не могу пойти к деткам, почему не пускаешь меня? И радости в тебе я не вижу оттого, что здесь я, с тобой. О несчастье каком-то говоришь, о беде. Непонятно мне...

– Прости ты меня Христа ради! – рухнул на колени Арсений.– Мы же считали, что погибли вы с Ипатом. Лютой, жуткой смертью погибли! Даже от старших детей не смогли это скрыть, потому как страшно горевал я, не мог в себе держать несчастье такое. Прости ты меня!

– Да за что простить-то?! Никак я в толк не возьму!

– Виноват я! Полгода уж почти прошло, совсем неумогу без хозяйки стало. С детьми управляться некому было. Аришка-то совсем маленькая была еще. Да и Никитушка. Серафима, подруга твоя мне все помочь пыталась. Сначала я никого и ничего не замечал. Она приходит стала то печь истопить, то еду наготовить, то детей обиходить. Илюшке с Дашуткой трудно было управляться – дети ведь еще совсем. Ну, а потом понял я, что детям мать нужна, а в дом хозяйка, как ни крути. Ну а уж, когда отслужили по тебе, да земле предали, так уж она и осталась насовсем. Никак и не думал никто, что ты вернуться можешь... живой вдруг окажешься. Прости ты уж меня... Любил ведь я тебя! И жили мы хорошо, душа – в душу. И за детей спасибо тебе. Только как им скажешь-то? Что ты объявилась... младшие – те и вовсе тебя не помнят, Симу за мать считают. Вернее Никитушка-то знал, что тебя нет уж боле. Очень он сильно хворал тогда. В горячке лежал. Думали, не выходим мальчика-то нашего. А как в себя-то вошел он, так и стал Серафиму матерью величать.

Сердце мое ухнуло вниз и застряло где-то в животе страшной болью. Согнулась я пополам, да так в телегу и упала ничком. Арсений кинулся было ко мне, только Яким встал у него на пути, потом молча сел на козлы, стегнул коня плеткой, и тот помчался прочь.

И опять я, как в бреду металась. Сначала не знала, как пережить эту весть, такую для меня страшную. Все, думаю, нет мне жизни на этом свете. Зачем она мне?! Как мне жить-то теперь?! Все, что было у меня, потеряла и никому моя жизнь теперь не нужна.

Дождалась, пока Яким уедет пищу добывать. Ему тоже в тягость быть не хотелось. Взяла веревку, пошла в сарай. Куда тут, думаю, ее приладить, чтоб ловчее было. А то вдруг еще получится порешить себя только наполовину, стыда не оберешься, да еще и калекой останешься. Смотрю, лестница у двери стоит, а почти прямо над ней крюк в стену бревенчатую вбит, на котором кнуты всякие висят или еще что... Вот, думаю, то, что надобно мне. Подошла я к лестнице этой, прислонилась лбом к ее шершавым ступенькам, а в груди боль такая, что и словами не передать. Дышать прямо не могу от ней. Подняла я голову, чтобы слезам своим горьким пролиться не дать, а в щелочку свет солнечный пробивается. И так страшно мне стало. Так страшно! Что сейчас вот через несколько минут все для меня закончится, и света этого я больше уж не увижу. И обо мне все забудут вскоре, будто и не было меня вовсе. И деточки мои родимые – и те не вспомнят, какая мамка у них была и как любила их да лелеяла... Заплутало, видно, мое счастье где-то, заблудилось. Господи, думаю, да за что ж такое наказание мне?! Да почему жизнь моя вся порушенной оказалась?! Чем же я прогневала тебя, Господи?! За что ж ты так не любишь-то меня? Даешь надежду и вновь отбираешь?! Нет, думаю, не будет мне ответа, да и нельзя себя жалобить более. Ползла я по этим ступенькам, веревку кое-как приладила, петельку соорудила, голову в нее сунула, дай, думаю, деток своих еще разочек напоследок вспомню, как рожала их, как маленькими они были. И вдруг дверь кто-то попытался открыть. А лестница-то мешает. Яким это оказался, вернулся за чем-то, как будто почувствовал чего. Дверь-то с силой открыл, лестница сдвинулась, ну, я в своей петле-то и повисла. В глазах у меня потемнело, только хрип свой услышала, и успела благодарность вознести Богу да Якиму за помощь его невольную – самой-то трудно решиться было. И все исчезло.

Так что Яким опять спасителем моим стал. Как в себя я пришла, он сидит рядом, руку мою держит, голову опустил низко-низко.

Пошевелилась я, глаза открыла, вижу, у него губы трясутся, руки дрожат, в глазах слезы да жалость с мольбой напополам.

– Что же ты наделала, Полюшка, что с собой сотворить задумала! Понимаю я тебя, тяжело пережить такое. Сказывал тебе ведь, как своих потерял, тоже руки на себя наложить хотел...

Только что ж ты хочешь и меня покоя до конца жизни лишить? Как я жить-то буду, зная, что убережешь тебя не смог?! Ведь как к Кресту я к тебе теперь приколочен!

Господь не посылает непосильного. Перетерпи. Знать судьба у тебя такая. Смирись! Ведь даже коль отчаяние наступает горькое, даже коль разум говорит тебе, что это единственное, что остается, стоит все ж прислушаться к своему сердцу. Что оно-то тебе говорит?.. Не надо так сгоряча!

Я глаза закрыла и лежала, как каменная. Да и сказать-то ничего не могла – горло мне сильно веревка сдавила, только шептать и могла теперь. Прав был Яким. Кругом прав. И от этого было еще горше.

Не знаю, сколько времени прошло. Мучилась я страшно. Ночей не спала, все из стороны в сторону металась, есть ничего не могла, все только думала, думала и не знала, как жить теперь дальше. Роптала я на судьбу свою, ох, как роптала...

Тогда Яким и сказал:

– Вижу, страдаешь ты сильно. Не могу я больше смотреть на твои метания и муки. Не жизнь это. Собирайся, отвезу тебя. Объявишься родным. Среди своих все лучше. Быстрее оттаешь. Но знай, ко мне, коли захочешь, всегда можешь вернуться. Кем хочешь здесь будь. Любую приму. Один ведь я, как перст, на свете живу. И ты мне не чужая стала. Прирос я к тебе. Всей кожей прирос. Однако ж, собирайся, Полюшка, поедем.

А собирать-то мне и нечего было. Оделась я, да и пошла за ним. Только сердце билось сильно-сильно. Как-то дома меня встретят? Может, и там уж думать обо мне забыли. Схоронили – и нету меня.

Яким привез меня к родительскому дому, но идти не велел – мало ли, испугаются еще чего. Сам пошел, подготовить как-то родню к такой новости. Вдруг вижу – ворота распахнулись, матушка, сестры выбежали, кто дома в ту пору был. Кинулись к повозке, плачут, кричат, поверить не могут.

– Да, как же это, Пелагеюшка?! Времени-то сколько прошло! Мы уж все глаза выплакали, думать не думали на этом свете тебя опять увидеть. Чудо-то какое, Господи! На все Твоя воля! Митенька (это племянник мой средний), ступай-ка на мельницу. Да осторожненько так скажи деду, чтоб домой ехал вскорости, новости, мол, тут хорошие. Да про Полюшку-то не говори ничего. И что видел ее, не сказывай. Да смотри, не сказывай! А то ведь не ровен час, сковырнешься от новости-то такой неожиданной.

И Якима не отпустили. Велели в избу идти, да рассказать все подробно. Не знали, куда и усадить-то моего спасителя. А я зашла в светлицу нашу, на лавку упала и уж тут, чисто плотину прорвало. Долго ли я плакала, горько и безутешно, не знаю, никто меня не беспокоил. Так и уснула. Прав был Яким, дома-то и стены помогают.

Утро-то вечера мудренее, это уж всяк знает. Стала я по дому помогать, а когда руки работой заняты, то и голове легче. Разговаривали со мной мало, трудно мне говорить-то было, тихонько только и могла кое-как несколько слов из горла своего несчастного выдать. Все лишь улыбались мне, жалели. Ну, а как ночь наступала, тут уж мысли всякие лезли. И однажды думаю я, почему это должна счастье-то свое уступать? Разве я виновата в чем-то? Это муж мой поторопился хозяйку в дом привести. Еще след мой, как следует не простыл... А я-то почему должна от детей своих отказываться да от жизни своей... Вот пусть Серафима и уходит. Завтра же пойду в Рождественку, в дом свой родимый. Приду и останусь! Там муж мой, дети... И не я там лишняя. С этой мыслью и уснула.

Встала раным-рано и отправилась. Матушке только сказала.

– Не знаю, касатка моя, правильно ли ты делаешь, но ведь не отговорю я тебя. Ни почему не отговорю. Решилась ты, вижу. Ступай с Богом! Об одном только прошу – зло в свое сердце

не впускай! Так уж вышло. Никто не виноват – ни ты, ни Арсений, ни Серафима. Один он остался с малыми детками. Да с горем своим. А горевал он сильно. Посмотри, седой весь стал, как лунь. Пойми его... Ну, ступай, сердешная.

Перекрестила меня, слезы фартуком вытерла и улыбнулась только жалобно очень.

Шла я в деревню, которая на долгие годы стала мне родной, и вспоминала Серафиму. Ведь она подругой мне была. Вся такая светленькая, тоненькая, милая, немного меня помладше. С самого детства мы дружили.

Вспоминаю, как мы играем в снежки. Я и Арсений о чем-то оживленно беседуем, смеемся. Я оглядываюсь и вижу, что Серафима грустно смотрит на нас, а потом отряхивает одежду от снега и уходит. Мы не пошли за ней и не окликнули. Я потом домой к ней зашла и увидела, что она плачет.

И вот наша свадьба. Серафима была очень грустная. А уж когда дети мои стали на свет появляться, часто стала захаживать к нам, возиться с ними. И они ее ждали всегда. Она то пряничек какой принесет, то игрушку смастерит. И ведь уходила всегда до того, как Арсений домой вернется.

В другое время жила она, как затворница. А ведь к ней и сватались. Но она не выходила замуж. Отец ее ругался. А она – ни в какую. Упрямничала. На вопросы об этом не отвечала, только улыбалась грустно. И вдруг мысль меня прожгла: так ведь она же Арсения моего любила! Я даже шаги замедлила – не знала идти дальше или нет. И такая ненависть во мне поднялась, аж в глазах потемнело, стала думать то, чего и не было, отродясь, и не могло быть. И осуждать стала, и думать плохо про Арсения и про Серафиму. Зубами заскрипела. Нет, думаю, раненько вы, миленькие мои, обрадовались!

И вот – знакомая околица, а там и дом мой, вернее чужой теперь, виднеется. Ну, думаю, сейчас все я вам скажу, сейчас вы все у меня получите, все узнаете, почему фунт лиха.

Открыла я калитку решительно, иду через двор. А на терраске она, Серафима, белье в корыте замачивает. Оглянулась на меня, даже воду расплескала. Испугалась, думаю? Не ожидала? Сейчас не так еще испугаешься! Вдруг выпрямилась она, я смотрю, а она тяжелая... Середина, видать, уж почти, ну, или около того. И девочка с крылечка к ней бежит, Аришенька моя. Я, было, обрадовалась, руки раскинула, а она к ней подбегает, за подол прячется: «Мама, – говорит, – а кто это к нам пришел? Какая-то тетя чужая». У меня аж в глазах потемнело. Могла бы, убила б ее в тот момент, Серафиму эту! Уж, как только ее в мыслях не называла: и разлучницей, и змеей подколодной, и что детей-то у меня отняла ни за что, ни про что! Только сердцем все сразу поняла. Что теперь уж окончательно все потеряла. Навсегда... Только лишь привкус счастья моего на губах и сохранился, а само оно разбилось на тысячи осколков и ни тени, ни даже тихого эха вдалеке не осталось.

– Иди в дом, Аришенька. Я сейчас с тетей поговорю и приду. Здравствуй, Пелагея! Давай со двора выйдем. Прошу тебя. Не надо, чтобы тебя видели. Пожалей деток своих. Ведь знают они, что погибла ты, что сгинула в лесу, от волков злых пострадала. Зачем же ранить их хочешь? Никитушку-то едва отходили.

– Как же ранить?! Разве это плохо, что мать их родная живой оказалась, спаслась чудесным образом?!

– Да пойми ты, нельзя так сразу на них новость такую обрушить. Почему ты знаешь, как они это все примут?! Умом-то своим детским неокрепшим. Если и сказать, то потом, постепенно. Никто не виноват, что так получилась. Ни ты, ни мы с Арсением...

– Вы с Арсением, – вторила я...

– Я смолоду Арсения любила, но никогда вам зла не желала и детей ваших всегда тоже любила. Я благодарна тебе, что разрешала мне видиться с ними. И мне не за что просить у тебя прощения. Сначала я только хотела помочь. А уж как панихиду отслужили по тебе.

– Отслужили по мне, – вновь эхом прошелестела я.

– Никто ведь и подумать не мог, что ты сумела спастись. Арсений тебя долго ездил искать. Как умом не повредился тогда – не знаю. Не рушь ты нашу жизнь!

– Вашу жизнь, – опять повторила я.

– И детям не рушь! Все переменялось! Что люди-то скажут. Да и мне... куда теперь деваться?! И Арсению как теперь быть? Как ему решать-то? Похоронили мы тебя... И рады, что ты живая оказалась, и... Оставь ты нас теперь, Христа ради! А детям твоим я хорошей матерью буду. Об этом ты не тревожься.

– Мама, – опять раздался детский крик.

– Иду я, Аришенька, иду, – отозвалась Серафима, глядя на меня с мольбой, надеждой и жалостью.

– Иди, Пелагея, прошу я тебя. Сейчас Никита уж проснется, слабенький он еще больно, Арсений с Илюшкой придут, не надо им тебя тут видеть! Не пугай, не бреди мальчонку! Он тоже пережил тяжело исчезновение и жестокую внезапную смерть твою.

– Значит, зря Яким меня спасал, лучше б меня волки загрызли...

Развернулась я и пошла восвояси, шатаюсь, как пьяная. А потом, думаю, хоть издали поглядеть-то на них. Затаилась в кустах, а вон, и они по тропинке идут. Сердце мое замерло, насили сдержалась я, чтоб не выбежать из своего убежища, да не кинуться к сыночку моему дорогому. Подрос-то как, вытянулся, как деревце. А походит-то на меня...

Прикрыла я рот ладошкой, чтобы крику не дать вырваться невзначай. Проводила взглядом, долго подняться-то не могла. Сначала по траве металась, крик свой звериный сдерживая, потом застыла, как каменная. А после уж пошла. Не помню, как до дома родительского добралась. В светелку свою проскользнула. А внутри прямо огонь горит – так больно мне, так страшно, так горько. И опять в беспамятство я будто впала – не помню ничего – все металась в бреду да в горячке. Не ела, не пила. А как очнулась, смотрю – отец Митрофан, настоятель церкви нашей рядом со мной сидит, голову опустил, да бороду свою теребит в задумчивости. Увидел, что я в себя пришла и гляжу на него.

– Что же это ты, девонька, разве ж так можно, – мягко упрекнул он меня, – родных пугаешь, себя не бережешь. Смерти искать не надобно. Не тебе решать, когда на Суд Высший отправляться. Знать, время твое не пришло еще...

– Плохо мне, батюшка, так плохо мне, – заплакала я. – Свет белый не мил. И зло в моей душе, обида так и жжет меня изнутри. И делать мне что, не знаю. Как жить-то теперь?! Пропадаю я... Смерти я впрямь прошу, а Бог не дает.

– Э, милая, ее еще заслужить надо, смерть-то. Не все видно ты выполнила, что Господь уготовил тебе... Бог посылает нам испытания, чтобы мы укреплялись, преодолеваючи их, а не отчаивались. Не все поняла еще ты, видно. Вишь, как тебя крутит-выкручивает. А тебе смириться бы надобно... И не кручиниться.

– Да как же с этим смиришься?! Чем же я провинилась?! Чем Бога прогневала?! Что не так сделала?! Почему он все у меня отобрал, детей даже моих меня лишил. Чем Серафима-то заслужила? И Арсений как мог так утешиться быстро?

– Вон и впрямь сколь зла-то и обиды в сердце твоём. Непонимания, ненависти, гордыни...

– Да как же мне, батюшка?! Хоть ты-то меня пожалей, помоги, подскажи, как пройти через это... – вновь зарыдала я.

– А я и жалею, дочь моя. Поэтому и говорю тебе: гордыню надо усмирить. Да себя забыть. Как Господь говорит: «Научитесь у Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Ты вот все о себе да о себе... А ты о детях подумай. Кто ж виноват, что так все вышло. Не противься! Значит такова

Его воля! Ты с Господом-то давно ли разговаривала, прощенья давно ли просила, давно ли молилась?..

– Да я каждый день только это и делаю...

– Нет, моя миленькая, не то ты делаешь. Иначе давно бы Господь твои раны исцелил. Не о том, видать, молишь. Не того просишь. И прощенья в душе твоей нет.

– Прости, батюшка... Один пепел там, в душе моей.

– Эх-эх-эх, дочь моя, Бог простит. Он милосердный. И зла Серафиме да Арсению не желай. Не виноваты они перед тобой ни в чем. Им сейчас тоже непросто. Арсению в особенности. И дети твои вырастут... Младшие не помнят, за мать Серафиму почитают, а старшие уж пережили смерть твою. Зачем же опять их тревожить? И младшим как объяснить, кто ты да откуда? Ну, положим, Никита твой вспомнит, только хорошо ли это на нем отзовется... А младшенькая твоя мамкой Серафиму кличет. И Серафиме-то куда теперь деться с дитем малым, еще не народившимся. А Арсению как быть? Время им дай, а там видно будет. Как Бог рассудит...

– Получается для всех я лишняя... и не нужна никому. А мне ведь жизнь без Арсения моего и деточек не мила! Ведь сижу я в светелке своей, нет их нигде, но и в каждом уголке – они, родимые мои, весь белый свет в руках у них остался, – вновь зарыдала я.

– Ты притчу об Иове-то помнишь? Вот, кто примером для тебя должен быть. Тем более твои-то живы и здоровы все, слава Богу! Подумай, дочь моя. Обо всем крепко подумай. И помни – Богу все нужны. Он всех нас любит, детей своих. И мысли даже такие из головы своей выбрось, – строго промолвил священник.

Так он мне все обсказал. Легше поначалу мне не стало, да только болезнь моя прекратилась. Стала я потихоньку домашнюю работу делать, сестрам да матушке помогать. Тяжело мне было видеть их взгляды, полные сочувствия и сострадания. Да и сама я мучилась ужасно.

Как засну, так снится мне мой Арсений любимый. Идет сквозь рощу березовую в той самой рубахе, которую я ему на ярмарке Покровской той злосчастной купила. Идет мне навстречу, улыбается, ямочки на щеках. Ветки руками отодвигает. Подходит, руку ко мне протягивает, да только не я это оказываюсь, а Серафима. Просыпалась я и все думала об них, думала, с ума от ревности и горя сходила. И самое главное – любить-то я Арсения не перестала. Как же это, – думала я, – он-то все забыл, что ли, как друг дружку мы любили? Закрывала глаза, а передо мной он, или детки мои все зовут меня: «Мама!» И прощенья в душе моей для него не было. Только мука одна. Да ненависть к Серафиме.

Поняла я вскоре, что не выход это – жить дома. А тут отец Митрофан как-то зазвал меня с собой поехать в обитель, что в тех краях расположилась.

– Поедем, дочь моя, с сестрами познакомишься, истории их послушаешь, ежели расскажут. Помолишься, поживешь какое-то время, душой оттаешь, быть может. Вспомнишь, что ты – дитя Божье, подумаешь, ведь зачем-то Бог жизнь тебе сохранил, – уговаривал он.

Я и согласилась. Собралась, с родней попрощалась, и поехали мы. Оглянулась я на дом наш, все вышли за ворота, вслед смотрят, и такая тоска на меня опять навалилась, такая кручина за душу взяла... Расплакалась я, разрыдалась, даже батюшки не постеснялась. А он ничего не сказал, глянул только на меня да вздохнул тяжело.

Путь нам предстоял неблизкий, однако к вечеру должны были добраться. Я сначала все про жизнь свою думала, а потом маленько задремала. И сон мне приснился тогда чудной такой. Перед взором моим картина проплыла с монастырем великим. А потом и Ангел явился, указал на него своим перстом. «Это – твоя обитель, сестра», – сказывает. Положил мне на плечи тяжелый крест и вновь молвил: «Неси смиренно. А я помогать тебе стану». Я едва не упала под этой тяжестью. Но послушалась и в ворота монастырские вошла. А там свет яркий такой, аж глаза слепит. «Иди с Богом», – повторил Божий посланник. Ну, я и пошла. А у самой слезы полились из глаз.

Повозка наша вдруг дернулась, я и проснулась. А сон тот помнила. Тем более что сбылся он... Осталась я в той обители.

Встретила нас матушка Херувима, которая была тогда настоятельницей монастыря.

– Пойди, дочь моя, осмотришь пока, – сказал мне отец Митрофан.

Монахиня тяжело дышала и говорила с трудом. Пожилой священник в задумчивости смотрел на умирающую.

– Ну, а потом ты все почти знаешь, – прошептала игуменья Арсения и откинулась на подушки, – прощения теперь прошу...

– Да, матушка... Удивила ты меня. Ох, и удивила. Трудно тебе пришлось. Но ведь Господь просто так испытаний-то не посылает. Сама знаешь... Да и в чем грех-то твой? Если какой и был, дак все уж отмолила и делами своими праведность свою и чистоту своих помыслов доказала...

– Нет, батюшка. Не все ведь я тебе сказала.

– Слушаю тебя, матушка Арсения, – перебирая четки, наклонившись к умирающей промолвил старец, – что еще сказать мне хочешь?

– Девушка у нас была. Помнишь, может быть? Акулиной звали. Светленькая такая. Постриг хотела принять.

– Нет, матушка Арсения, не помню, обманывать не буду. Сказывай дальше.

– Отговорила я ее от пострига-то. В послушницах она ходила. А потом и вовсе из монастыря ушла.

– Как это отговорила?

– А вот так, батюшка. И не раскаиваюсь в этом. Прости ты меня. С Господом я позднее поговорю, как предстану перед Ним. А тебе скажу. Негоже это, чтобы молодые девицы дни свои в монастырях проводили в заточении. Как цветы в снегу. Вон подснежник, и тот к свету, в мир тянется. Долго я об этом думала. Все решиться не могла девиц молодых отговаривать и в обратном убеждать да радость жизни показывать.

– Да ты в уме ли, матушка?! – ахнул духовник, перекрестившись.

– Мне уж теперь все одно. Я долго сомнениями мучилась. Но по сей день не могу я с этим согласиться. Она родить должна, замуж выйти. Ну, разве место ей здесь, в обители? Разве это Бог задумывал, когда в мир наш ее посылал?

– И многих отговорила?

– Теперь уж и не припомню.

– И ни одна ведь ни разу не рассказала, не пожаловалась. Ни мне, никому другому... Видно правильное что-то ты им говорила...

– Все в жизни может быть. Бывает и молодая девушка решает посвятить свою жизнь Господу, уйти от мира. Это не возбраняется. Когда всем сердцем, всей душой к этому стремишься. Но есть и такие, кто сгоряча решил на это или из боязни какой. Жизни трудной или голодной испугались, испытаний, нищеты или еще чего. От них в монастыре и прятались. Да, и здесь нелегко, но все ж не так, как в миру. Там-то труднее. Не захочешь, а согрешишь порой. Или кто в скорбях своих жить в миру заботится. Замкнется, верить всем перестанет и кажется им тогда жизнь в монастыре раем. Однако ж это труд великий, хоть как посмотри. Да и не для того мы на этот свет пришли, чтобы взаперти тут от мира находиться и радостей жизни нашей лишиться. Не для того...

– А для чего, матушка, по-твоему?

– Радоваться. Каждому мигу радоваться. Листочек на веточке затрепетал – радость, птичка запела песнь свою – опять радость. Мороз все вокруг разукрасил – и это благодать Божья. Находить ее надобно всегда и везде... Каждый день находить! Что бы ни случилось!

И Бога славить и благодарить. Гости мы здесь... И что есть наша жизнь – миг один. Что ж себя в стенах-то запираешь...от жизни этой прятаться... в черных одеждах. Господу служить в миру надо, каждый день жизнью своею доказывать, что не зря на Землю эту пришел. Бога прославлять и учению Его учить. Детей своих учить, воспитывать. Любить... Бог для счастья нас создал. Чтобы мы жили, познавали эту жизнь, радовались, лучше становились, понимая, что именно этого Бог от нас хочет. Теперь-то я уж точно это знаю. Какую заповедь Он дал? Любите друг друга. Вот это и есть святой долг на жизнь для каждого – заполнять все любовью вокруг себя и внутри себя. А что монастырь?.. Обитель. От мира укрыться, спрятаться... Во многом, конечно, это легче. Но не во всем...

– Да как же ты к мыслям-то таким пришла?

– Потому что послушница та дочкой мужу моему приходилась. Серафиминой дочкой. Матери-то уж не было у нее. Умерла она, Серафима-то. Моих-то, считай, вырастила, а своих сиротами оставила. И вот дочка ее ко мне и пришла. Чуть помладше она моей Аришеньки была. Разве ж я ей такую долю пожелала бы? Вот и этой не смогла.

– Ладно, матушка Арсения. Дело это прошлое. Плохо только, что со мной не посоветовалась ни разу.

– Так ведь разве ж ты одобрил бы?

– Да уж, не одобрил бы...Удивляюсь я, как же ты умудрилась монастырь-то при этом до упадка не довести...А наоборот! Ведь народу всегда у тебя тут много было. Поэтому выходит, что грех твой и не грех вовсе оказывается. Так что отпустить мне нечего. Сама ты нагрешила, сама и исправила. Вон, какую обитель подняла да вела. Со всех сторон к тебе паломники ехали. Скольким помогла, скольких исцелила. Больницу целую выстроила. Да много чего еще. Нет, дочь моя Арсения, не судья я тебе. Умирай с миром. Быть тебе в раю и песни ангельские слушать. Сам буду о душе твоей молить, да о прощении.

– Спасибо тебе. Там в шкафчике моем книги. С первого дня историю монастыря веду. Сохрани... Сестрам я уж приказывала...

– Прочту я. Что-то заново узнаю, а что-то и вспомню... Ну, исповедовалась ты мне. Давай теперь причащу тебя, горемычную, да соборую. Чтоб ко встрече с Создателем и ты, и дух твой были готовы.

– Я готова, батюшка. Вот только любимых детей моих и мужа повидать хочу. Прощения и у них попросить... Молю Бога об этом.

– Да разве ж ты перед ними в чем виновата?

– Видно, виновата, раз Господь послал мне долю такую. Кто знает, правильно ли все было? Так ли надо было... Много я обо всем этом думала. Может, в счастье своем только себя и разумела, может, кого обидела ненароком али не замечала вовсе, про беды других, может, мало думала, может, и судила кого строго, сравнивала, а в себе ничего не замечала. Да и поблагодарить хочу. Что были они у меня. Светом нетленным в моей душе светили. Через них ведь все делала-то я. Все через них. Думая, помня да любя... Раньше-то я какая была? Все ж с характером. Хотела все, чтоб по-моему было. Всех ли любила? Никого ль не осуждала? Ни на кого ль не сердчала? А сейчас? Во-о-от! То-то и оно! А теперь, давай, батюшка, а то боюсь не успеть мне приобщиться Святым Христовым Тайн. «Верую, Господи, и исповедую...», – начала читать молитву монахиня.

– Как Святитель Иоанн Златоуст писал, что умирающих, «если они причастятся Тайн с чистой совестью, при последнем дыхании окружают ангелы и препровождают их отсюда на небо ради принятых ими Тайн». Для соборования все ли приготовила, матушка?

– Да. Все есть. На полочке там возьми и свечи, и скатерть чистая, и елей...

Отец Филимон зажжет еще свечи.

– Благословен Бог наш, – приступил к таинству духовник.

Часть 2. В обители

...И осталась Пелагея в той обители. Сначала исправно трудилась она, где попросят. Потом, когда прознали, что молодая женщина умеет прясть, вышивать да вязать, поручили ей обучать этому сестер и послушниц.

В монастыре были строгие правила. Ели в трапезной все порознь: вначале, кто познатнее, потом остальные монахини, а уж после послушницы. Праздные разговоры друг с другом вести возбранялось.

Пелагее было неуютно, одиноко и тоскливо. Монахини казались ей почти бесплотными тенями, безмолвно появляющимися и также тихо и незаметно исчезающими. Она часто бродила, как неприкаянная, с готовностью выполняла, кто что попросит. Тогда-то настоятельница и поручила ей обучать сестер рукоделию, да закрепила за ней монастырских коз. Таковым и определили ее послушание поначалу.

Рано утром Пелагея выводила коз на луг пастись, ближе к обеду приносила им воды, а уж как солнце к закату клонилось, забирала и вела своих подопечных назад, в их жилище. Она доила их, ухаживала, убирала за ними. Ей нравилось это занятие. Пелагея разговаривала с животными, гладила их по жесткой шерсти, и те отвечали ей радостным блеянием. И от этого молодой женщине становилось уже не так одиноко. Она ощущала себя хоть кому-то нужной и полезной.

Так проходило время. Пелагея начинала привыкать к своей новой жизни, хотя иногда думала о том, что не хотела бы провести все отпущенные ей дни именно так: было жаль времени, проходящего, как сквозь пальцы – песок. Хотя в работе она, конечно, забывалась и уже не так мучилась своими навязчивыми, терзающими душу мыслями.

Как-то раз, отведя коз на луг, Пелагея медленно брела к монастырю, размышляя о своей жизни. Как вдруг увидела схимонахиню. На лоб той был надвинут черный куколь так глубоко, что лица почти не было видно и, казалось, она, идя по лугу, не замечала ничего вокруг. Пелагея от неожиданности остановилась.

– Спаси, Господи. Благословите, матушка, – тихо произнесла она.

Схимница взглянула на нее пристально, надолго задержав взгляд и слегка отодвинув назад куколь. Лицо ее было сплошь покрыто морщинами, но голубые прозрачные глаза смотрели по-доброму.

– Ты откуда будешь, сестра, из обители? – спросила она, ответив на приветствие.

Пелагея кивнула, низко опустив голову. Неожиданно на ее глаза навернулись слезы. Она склонилась еще ниже.

– А вы здесь гуляете? – сдерживаясь, чтобы окончательно не расплакаться, спросила она первое, что пришло в голову.

– Да, касатка, гуляю, – усмехнулась монахиня. – Травы лечебные ищу да собираю. Потом сушить их буду, – уже серьезно сказала она. – Хочешь, и тебя научу? А то смотрю, ты сюда, как неприкаянная ходишь, да слезы, гляжу, вот-вот прольются.

– Нет, матушка, простите. Я не неприкаянная. Я послушание несу – коз пасу и еще сестер вязать да прясть обучаю. Мне матушка Херувима наказала.

– А-а-а, ну это хорошо, это дело богоугодное, если пользу приносишь сестрам и монастырю. Да и себе... А грустишь чего?

– Не знаю я, матушка, как дальше мне жить. В монастыре ли оставаться... Хотя и идти мне некуда, – с безнадежностью в голосе произнесла Пелагея.

– Что так? Али ты сирота?

– Нет, я не сирота. Просто так уж в жизни моей сложилось... Видно, Господу так было угодно. Но только в толк я никак не возьму, чем я его прогневала и что мне надобно сделать теперь, чтобы жизнь свою наладить.

– Эх, милая, Божий Промысел не каждому дано понять. Далеко не каждому. Принимать надо... Хотя, если бы это было так просто... Но то уже хорошо, что вопрос себе такой задаешь, да ответ пытаешься сыскать. Ищущий да обрящет. А про травки-то подумай. Научу тебя тому, что знаю. Я ведь не вечная, наступит время, и мне пора будет в Небесную Обитель отправляться. Ты постриг-то собираешься принимать? Или никак не надумаешь?

– Я бы хотела, но еще рано мне, да и матушка Херувима думает, что не больно я к постригу готова. Надо сердцем желать этого. А я пока только оттого, что деваться мне более некуда. Хотя ведь и послушницей можно прожить...

– Послушницей-то можно. А что ж тебе в монастыре плохо?

– Нет, не плохо, совсем не плохо, – горячо уверяла Пелагея. – Сестры ко мне с добром, с теплотой, да и матушка, я чувствую, жалеет меня. Просто никак я не могу на новую жизнь решиться, от старой отрекшись.

– Что ж тебе мешает?

– Любовь... – тихо ответила Пелагея.

– Любовь? Вот удивила ты меня. Да как же любовь помешать-то может.

– Вы меня, видать, не так поняли-то. Я мужа своего люблю. Деточек малых, – заплакала опять послушница, – и не могу я от этого отречься.

– Не знаю, что там в твоей жизни случилось. Захочешь, расскажешь после. Но вот, что я тебе скажу, милая, – а тебе и не надо от них отречься. Тебя же что-то в монастырь привело? И назад, в прошлое дороги нет, так ведь? Ну, так зачем же отречься? Пусть они так и остаются в прошлом твоём. И как говаривают, не вспоминай в упрек о прошедшем, иначе Господь вспомнит и възыщет то, что уже простил. А ты просто новую жизнь начнешь. И молиться за них, за дорогих своих будешь, помогая им своими молитвами. Господь всегда помогает, когда обращаешься к нему с открытым сердцем. Никого не оставляет. Вот и ты, молись, детка. Молись о своих дорогих, молись о себе. Богородицу за них проси. Материнская молитва, знаешь ли, горы может сдвинуть и моря высушить. И все-е-е-е пройдет. Всегда все проходит. Помни об этом. А мы маловерны. В этом все дело. В маловерии нашем. Вот ты думаешь, что в Бога веруешь?

– Верую, матушка... конечно, верую.

– А в чем тогда печаль-то твоя? Сомневаешься, видно, в Нем, в Боге-то. В том, что все правильно, да что поможет Он, что не оставляет Он чад своих. Да что каждый должен свой Крест нести. Смиренно и с верою. Ну, надумаешь, приходи... – оборвала вдруг сама себя монахиня.

– А как мне вас найти, матушка?

– А вот здесь и найдешь, Бог даст...

– А как вас зовут?

– Мать Евфросиния. Ступай с Богом.

В монастыре Пелагея рассказала настоятельнице об этой встрече. Матушка Херувима выслушала, и, подумав, сказала:

– Ну, что ж, может, так оно и лучше будет. Не с каждым мать Евфросиния заговорит да совет даст. Ходи, помогай, да слушай больше. Матушка многому тебя научит. Бог даст и отгадет сердце твое. Глядишь, и к постригу придешь сама по своему разумению и желанию. Ну, а нет, послушание будешь нести, сколько надобно, да и сверх того.

Так и стала Пелагея отводить коз на луг, да поджидать схимонахиню. И в один прекрасный день дождалась. Старая монахиня появилась. Она стала показывать ей лечебные травы, рассказывала, как делать из них отвары и как они помогают при болезнях.

– Тело-то вылечить можно, но лечить надо дух. Это – главное, – любила повторять врачевательница. – А для этого выслушать человека надобно, чтоб рассказал, чем он живет, да как... Какие мысли у него в голове, да что на сердце. Может, боль какую душевную прячет али обиду затаил. И уж потом решать, отчего с ним какая хворь приключилась, как и чем ему лучше помочь.

Пелагея была способной и быстро все запоминала. Однажды она задумалась над тем, что если можно делать отвары из трав, причем разной густоты, то можно сделать и растирку специальную или мазь, используя при этом воск, жир или масло. Такую мазь, которая будет помогать от боли в суставах, в спине, заживлять раны. Она попробовала изготовить такую мазь из сабельника, и снадобье это помогло старой монахине, мучившейся страшными болями от подагры. И рассказала Пелагея о своем открытии своей наставнице.

– Да ты дальше меня пойдешь с Божьей помощью. Будет кому ремесло свое передать перед смертью.

– Что вы такое говорите, мать Евфросиния! Я к вам так привязалась. Как к матушке родной.

– А ты не привязывайся ни к кому, касатка. Тогда и отпустить легче будет. Никто навечно с тобой не останется: ни мать, ни отец, ни дитя малое, никто другой. Да ты ведь это и сама уж знаешь. Вот и не привязывайся накрепко.

– Да как же это? Я же люблю их больше всего на свете! Как не привязываться-то?

– Эх, милая. Да любить-то тебе никто не запрещает. Но ты больше всех на свете только одного должна любить.

– Кого же?

– Бога, родимая. Бога. Коли ты веришь только ему одному безгранично и любишь его, ты знаешь, что Он все делает для твоей пользы, как тебе и нужно. И ты веришь, что все будет хорошо. Что бы там с тобой ни случилось. Тогда ты и принимаешь все безропотно, как праведный Иов. И не горюешь тогда ни о ком и ни о чем. Иные вон чад своих до того возлюбят, что не знают, куда посадить их, лучший кусочек им отдают, да все пылинки сдувают, себя и всех вокруг забывая. А Бог-то и показывает, что не надобно так-то. «Отрекись от всех и иди за мной», – вот что Бог-то говорит. Это и значит, что верить надо, верить безоглядно. Богу верить.

– Я не понимаю, как это любить, но не привязываться... Никак не пойму.

– Поймешь, придет время. Люби. Да принимай все, как есть. Ты вон никак не можешь. Никак твое сердце не отпускает.

Пелагея низко опустила голову.

– Это ведь не только людей касается. Но и всего. Вот сказано: «Легче верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное». Это ведь потому, что богатый человек к добру своему привязан шибко. Накрепко привязан. Вот в чем дело-то. Пусть человек будет богатым, но не привязанным к своему богатству, пусть будет всегда готов легко с ним расстаться, ближнему помочь, если требуется. Без жадности и без сожаления. Так что и ко мне привязываться не надо. Настанет день, и я уйду. К Отцу Небесному в Обитель. И момент этот уж близок. Я чувствую. Потому и учу тебя. Да книги все свои старинные тебе передам. Много там мудрости. И врачевательных наказов много. И не хочу я, чтобы ты по мне горевала.

– Но вспоминать-то о вас можно?

– Конечно, вспоминать можно. И нужно. А вот слезы лить ни к чему. Радуйся за меня. Что заканчиваю я этот путь свой земной.

Совсем загрустила было Пелагея, но над словами старой схимницы задумалась.

И наступил день, когда, придя на знакомый уже луг, где они встречались с наставницей, Пелагея впервые за долгое время так и не дождалась монахиню. Удивившись и забеспокоившись, она решила пойти в скит, где жила матушка Евфросиния. Найдя келью схимницы, Пелагея постучалась.

– Молитвами святых матерей наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, – начала она.

– Аминь, – едва послышалось в ответ.

Пелагея отворила дверь и осторожно вошла в келью, низко нагнувшись, чтобы не удариться о притолоку.

– Спаси, Господи, благословите, матушка, – поздоровалась она.

– Подойди ко мне, Пелагея, – тихо произнесла монахиня. – Пришел мой час. Прости уж меня, касатка. Бог не оставит тебя, а мне уж пора ко Господу. Он зовет меня к себе. Обо всем мы с тобой говорили. Незаметно, а ведь цельный год уж прошел. Всему, что знала сама, я тебя обучила. В нужное время мы с тобой встретились. Травы мои соберешь, те, что сушатся, отвары тоже забери да книги, какие тебе обещала. Четки вот тебе дарю на память. Не горюй и не плачь. Я в дом свой Небесный ухожу, в свою Обитель возвращаюсь. Без печали и без сожаления. А ты тут пока в юдоли земной остаешься. Наклонись-ка ко мне, касатка моя, – попросила умирающая. – Учись прощать, вот что я тебе скажу, – прошептала она, – да полагайся во всем на Бога. Не противься. А чтобы научиться этому, знаешь, что надо?

– Добрым быть? – утирая набегающие слезы, прошептала в ответ Пелагея.

– Любить надо. Все и всех. Учись любить. Всю жизнь учись. Тогда и прощение от тебя будет всем. И тебе воздастся. Молись об этом. Проси... Да помни, для чего в монастырь-то приходят.

– Для чего, матушка?

– Для покаяния, сестра. Ступай. Храни тебя Господи! Сейчас мое время наступает. Помолиться мне надо, как следует, перед таинством главным своим.

– Как же я оставлю вас, матушка? – пробормотала в отчаянии Пелагея, оглядываясь в беспомощности.

– Не волнуйся обо мне. Главное – душа. А о теле позаботятся. Ступай с Богом. Потом придешь. Все возьмешь, что захочешь: и Библию, и образа. Потом. А теперь – благодарю тебя за все, прости и прощай. Христос с тобой!

Пелагея все же не смогла удержаться от слез. Долго бежала она сначала по пролеску, потом по лугу. И только добежав до монастырской ограды, остановилась, слегка запыхавшись. Повинуясь странному порыву, она зашла в Храм. Там было тихо, пахло свежесмытыми полами. Пелагея подошла к иконе Божией Матери, опустилась в молитве на колени, потом поднялась и долго смотрела Богородице в глаза. Затем, перекрестившись, медленно вышла. И вдруг поймала себя на мысли, что внутри у нее возникло неведомое доселе чувство. Это был и восторг, и радость, и щемящая печаль одновременно. Пелагея не могла себе объяснить, что это вдруг на нее нахлынуло.

– Благодать Божья, – подумала она, – так вот о чем говорила мать Евфросиния. Ведь я сожалею о ее уходе, но вместе с тем, думаю о ней с радостью. И на сердце ничего не давит, и на душе легко. И слезы мои о ней светлые. Как при расставании просто. Вот что значит не привязываться, а отпустить. И ей поэтому возноситься к Отцу нашему легче. Не держу я ее здесь своими слезами да стенаниями. Как это мудро! Как это сложно и легко! – рассуждала Пелагея, чувствуя огромную благодарность и к старой монахине, и к жизни за то, что так разумно в ней все устроено.

С этого дня она часто заходила в Храм, подходила вновь к любимейшей иконе, всем сердцем желая вновь и вновь испытать чувство блаженства и покоя, радости и какого-то необъяснимого счастья. Постепенно Пелагея научилась вести мысленные диалоги с Богом, спрашивала совета, задавала вопросы и умела слышать на них ответы, чувствуя при этом и удивление, и счастье, и ощущение настоящего чуда, происходящего с ней. Жизнь вновь обрела для нее смысл, она снова почувствовала ее вкус и опять начала ощущать радость своего бытия. Наступил день, когда Пелагея сообщила матушке настоятельнице о своей готовности принять малый постриг. Так стала она инокиней Меланией.

Изредка к ней навевались мать с отцом. Правда, здесь, в монастыре были не приняты такие визиты, но Пелагею на первых порах разрешали эти свидания. Приехав однажды, родители застали Пелагею уже в монашеском одеянии. Но увидев, как дочь улыбнулась, какие спокойные у нее глаза, в которых исчезла тоска и боль, родные поняли, что, возможно, она избавилась от своих горьких воспоминаний, не страдает больше, и очень обрадовались этому.

Поскольку Пелагея была грамотной, много знала, стала она во всем помощницей матушки Херувимы. Назначила та ее казначеей, доверив все монастырское хозяйство. Вместе с настоятельницей они совершали и паломнические поездки, воспринимая их как духовный труд. А однажды с благословения епископа решились они отправиться в путешествие и на Святую Землю.

Долог был этот путь. И полон он был опасностей и приключений. Сначала добирались монахини до Одессы. Ехали то поездом, то на телегах. Затем пароходом прибыли в Константинополь. Попали, правда, в шторм, который изрядно их потрепал. Измученные, уставшие, осунувшиеся добрались они до Царьграда, с трудом нашли ночлег, а через несколько дней, слегка опомнившись от пережитого, уже на другом судне отправились в порт Яффе. Усиленно молились путешественницы, вспоминая с содроганием недавнее плавание, и радовались тому, что на море был штиль, и погода стояла ясная и теплая. Из Яффе караваном долго шли паломники по специальному маршруту – по городам, связанным с земной жизнью Христа. И вот, наконец, главная цель их путешествия – Иерусалим.

Пелагея никак не могла уразуметь, представить, что именно здесь, в этих местах начиналась и проходила вся библейская история. И каждый камень – настоящий ее свидетель. И все, даже воздух был здесь пропитан историей, несмотря на прошедшие столетия. Кругом их окружала святая древность... Все это вызывало какое-то невероятное благоговение и не переставало изумлять Пелагею.

Иерусалим представился паломникам, среди которых были и матушка Херувима с инокиней Меланией, великой святыней, прикосновение к которой помогает очистить и напитать души, их внутренние храмы, дает силы для всей последующей жизни. От этих мыслей у Пелагеи захватывало дух. Ее поразило большое количество соотечественников на улицах древнего города. Везде слышалась русская речь. Удивило и то, что многие ходили по городу, меряя километры шагами – невозможно было пользоваться повозками на «той земле, по которой Сам Господь ходил пешком». А матушка Херувима все время приговаривала: «Если Господь даст умереть в сем паломничестве, то пусть удостоит такого блага, как умереть на Святой Земле». В некоторых Храмах Иерусалима и службы велись на славянском языке. Словом, пребывание в Иерусалиме оставило множество самых разнообразных и удивительных впечатлений. Но самым большим потрясением для пилигримов стал, конечно, Храм Гроба Господня. Уже при входе монахини увидели камень Помазания, на который много веков назад положили тело Господа, снятое с Креста для умащения маслами перед погребением. Войдя в Храм, сестры спустились по ступеням и оказались в темном помещении, которое при рассмотрении оказалось круглым. В середине стояла небольшая часовня из мрамора – Кувуклия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.